

Город за стеклом похож на дорогие и громоздкие декорации, что соорудили триста лет назад и с тех пор не меняли, а лишь понемногу подлаживали под свежие сценические веяния. Но сейчас на пыльных подмостках разыгрывается самый ветхий сюжет — на них идет гроза.

Стекло между грозой и Мартином похоже на горячий сжатый воздух, которым нельзя дышать, но зато его можно потрогать.

Прислонясь к нему головой, Мартин неудобно сидит на подоконнике и смотрит на свое отражение в тучах. Тучи отражают человека, который любит смеяться, но давно не имеет для этого повода. На лице его присутствует полный набор морщин, положенный мужчине, разменявшему на размышления четвёртый десяток. В те времена, когда Мартин умел шутить, он бы сказал, что с годами его извилинам стало слишком тесно внутри головы, вот они и вылезли наружу, и все мысли теперь написаны у него на лбу.

Лоб Мартина похож на бледное северное море, а волосы — на рыжий осенний лес, в котором море выточило два глубоких залива. Нос — длинный, весёлый и подвижный, ярко разукрашенный веснушками. Глаза же, напротив, серы и печальны — они не из тех, что готовы широко раскрыться перед незнакомцем, но прячутся, подобно японским женщинам, за ширмами век и веерами морщинок. Рот красив, но почти всегда перекошен — то из-за трубки, то из-за привычки покусывать нижнюю губу. Подбородок выдающийся, с ямочкой, не слишком-то тщательно выбритый. Уши оттопыренные и любопытные.

Из радио в уши Мартину льются расплавленной медью адские звуки литавр в соль-миноре, и он страдальчески морщится, но не находит в себе сил сдвинуться с места и выключить приемник, и лишь бормочет: «...безумие... безумец... безумцы...». Наконец, музыкальная

лавины замирает, и в потрескивающем наэлектризованном эфире жизнерадостный баритон по-североамерикански сообщает Мартину, что он только что прослушал прошлогоднюю живую запись «Парсифаля» из «Метрополитэн Опера» в исполнении... — тут первая капля дождя майским жуком врезается в стекло, словно плевок, нацеленный небом прямо в Маринов глаз. Рефлекторно отдернув голову, Мартин теряет остатки равновесия и соскальзывает с подоконника. «Прекраснодушные идиоты, — тихо кричит он баритону, дважды стукнув кулаком по полированной крышке „телефункена“, — неужели вы не понимаете, что это — война?» Не дожидаясь, впрочем, ответа, отключает радио. Освободившуюся тишину тотчас заполняют жестяная чечетка капель, сдержанный кашель грозы и слоновий зов пароходов из гавани.

Глядя, как туча сизым корабельным бортом надвигается на окно, Мартин рассеянно набивает трубку. «Великан Суртр придет с юга, убьет Фрейра и спалит все и вся огнем к такой-то матери. Ну да, ну да...» — говорит он еле слышно. Резкое дребезжание звонка входной двери заставляет его вздрогнуть. Табак сыплется на ковер. Пес поднимает огромную лобастую голову и внимательно смотрит на хозяина. Мартин пожимает плечами, сует трубку в карман куртки и направляется в прихожую. Пес вскакивает с лежанки и следует за ним, громко сопя и стуча когтями по паркету. Он поспевает как раз вовремя, чтобы просунуть свой любопытный нос из-под хозяйского локтя в раскрывающуюся дверь.

* * *

В полумраке на лестничной площадке стояла Мари — не такая, какой Мартин помнил ее, а такая, какой она должна была бы стать теперь, десять лет спустя. Мартину показалось, будто вся кровь раскаленным

молотом ударила ему в голову, легкие окаменели, а руки и ноги, наоборот, сделались соломенными и бесполезными, как это бывает во сне перед бегством или поединком. Он схватился за ошейник собаки и попытался вдохнуть.

Но тут призрак заговорил низким, хрипловатым незнакомым голосом — и в тот же миг судорога отпустила мозг Мартина, и кровь унялась и вернулась в себя, оставив по себе металлический привкус внезапного страха во рту и звон в ушах, из-за которого Мартин не разобрал ни единого слова. «Успокойся! — приказал он себе. — Это не может быть Мари. Мари умерла — ты знаешь лучше, чем кто-либо другой. Эта женщина просто очень на нее похожа, и даже, возможно, не очень. Здесь темно. И голос совсем другой».

Залп молнии за окном на мгновение обдал синеватым светом лестничный пролет, сделав все вокруг монокромным и плоским, как фотография, и Мартин увидел, что женщина снова что-то говорит ему — но на сей раз ее слова утонули в грохоте, от которого зазвенели стекла — было похоже, что туча-корабль налетела днищем на дом. Раскат грома был так долог, что Мартин успел немного отдышаться и прийти в себя:

— Простите, пожалуйста, фройляйн! Я опять не расслышал, что вы сказали, — сказал он, виновато улыбаясь, как только стало тихо, — Но не угодно ли вам будет войти? Вы совершенно промокли, а гроза вряд ли закончится скоро.

Мартин двинулся вперед и вбок, чтобы освободить проход, и лишь тогда ощутил ноющую боль в пальцах, вцепившихся в ошейник. «Как в соломинку. Да что же это со мной?» — с досадой подумал он и, притворившись, будто попросту придерживает пса, свободной рукой изобразил некий жест, который можно было бы истолковать как приглашающий.

Женщина покачнулась на месте в такт этим движениям, словно от ветра, затем коротко кивнула и вошла. От нее исходил ощутимый на расстоянии жар, а все ее

тело вибрировало, как рояльная струна. Открытые по середину плеч тонкие руки, прижимавшие к груди какой-то жалкий узелок, были покрыты гусиной кожей. Спутанные прядки золотисто-рыжеватых волос уже успели присохнуть ко лбу, широко же распахнутые темные глаза были влажны. «Без шляпки, без сумочки и, по всей видимости, совершенно больная, — констатировал в уме Мартин, входя следом и запирая дверь, — Интересно, что ей от меня нужно? Верно, не сорок тюфяков и одна горошина. Здесь никто не знает, что я врач. Странное дело». Он провел незнакомку в гостиную и усадил в кресло. Женщина позволила укрыть себя пледом, но сидела напряженно, держа свое небогатое имущество на коленях. Пес подошел к ней, вдумчиво обнюхал ее ноги и тут же с тяжелым вздохом бухнулся на ковер.

— Прежде чем мы начнем говорить о деле, которое привело вас ко мне, милая фройляйн, осмелюсь предложить вам согревающего питья, — не терпящим выражения тоном заявил Мартин и удалился в кухню, стараясь не глядеть на гостью.

«Кстати, почему ты так боишься посмотреть ей в глаза? Отчего ты так струсил? Разве тебе еще есть что терять? Или тебя пугает это случайное совпадение? — спрашивал он себя, яростно измельчая корицу, и сам себе отвечал: — Вздор, случайных совпадений не бывает, так что это либо не совпадение, либо оно неслучайно. А боишься ты снова впустить страх в свою жизнь. Не потерять, а приобрести. Но это все пустое — закончится гроза, она встанет и уйдет, ведь она здесь, скорее всего, по ошибке!»

За те несколько минут, что Мартин возился на кухне, женщина не изменила позы, только обхватила руками плечи, точно пыталась удержать свое тело от лихорадочных подергиваний. Услышав шаги за спиной, она резко — как-то чересчур резко — обернулась, и Мартину снова стало не по себе — на сей раз от той безнадежности и растерянности, которую изучали ее

больные глаза. Он почти выдержал этот взгляд, постаравшись ободряюще улыбнуться в ответ, и с таким видом протянул перед собой затейливо украшенную глиняную кружку, словно под ее крышкой и впрямь находилось решение всех житейских проблем, как утверждала готическая надпись сбоку.

— Здесь яблочный настой, корица и еще кое-какие ингредиенты — весьма полезное жаропонижающее средство. Выпейте, пожалуйста!

Женщина выпростала руки из пледа, взяла кружку, не отрывая взгляда от Мартина, и сказала глухим неровным голосом, сквозь который пробивались клокочущие хрипы:

— Благодарю вас и прошу извинить за беспокойство.

Тут свирепый, как цепная собака, кашель вырвался из ее груди, и ей потребовалось не меньше минуты, чтобы усмирить его. Пес, до сих пор лежавший в полной прострации, вскочил, несколько раз утробно взлаял и снова лег.

«Охохох, это очень похоже на двустороннюю пневмонию. А вот она не похожа на немку. Говорит правильно, слишком правильно, по-гимназически, и этот легкий акцент... Полька? Нет, пожалуй, не полька...» — размышлял Мартин, но гостя, откашлявшись, сама разрешила его сомнения:

— Я ищу Йозефа Розенберга. Это брат моего отца, он должен был жить с семьей по этому адресу.

«Так вот оно что! Дело-то еще более странное, чем я мог предположить!» — подумал Мартин, а вслух произнес:

— Увы, мы с Докки, — он указал подбородком на пса, — являемся единственными обитателями этой квартиры. Ваш дядя, с которым я не имел случая познакомиться, почти два года тому назад продал ее мне через посредника и уехал то ли в Палестину, то ли в Бологию. Видите ли, климат в нашем городе стал очень нехорош для евреев в последнее время, — завершил он

упавшим голосом, увидев, как на глаза собеседницы набежали слезы.

— О, Боже мой! — прошептала она, зажмурившись, отчего несколько капель гулко кануло в нетронутое питье. — Что же мне теперь делать?

Как любой мужчина при виде женских слез, Мартин запаниковал:

— Ох, ради Бога, не отчаивайтесь, фройляйн! Все это, конечно, непросто, но мы что-нибудь придумаем! В городе еще остались евреи — я лично знаком с несколькими стариками тут неподалеку и завтра же наведу справки! Уверен, что кто-то из них подскажет, где искать вашу родню! А вы покуда...

На этих словах женщина мотнула головой, поставила кружку на столик и попыталась встать, но вместо этого неправдоподобно тихо, как снег, упала навзничь.

— ...останетесь у меня, — по инерции договорил Мартин, остолбеневший от неожиданности. — Вот черт, и я ведь даже не знаю ее имени!

* * *

Мартин осторожно поднимает на руки обмякшее тело и, поддивившись его легкости, укладывает на кожаный диван. Некоторое время стоит над ним в задумчивости, покусывая губу. Наклонясь, берет за тонкое запястье безвольно откинутую левую руку, с удивлением отмечает въевшуюся в поры угольную пыль, прикрыв глаза, с минуту слушает пальцами пульс, поочередно поднимая и опуская их, будто играет на флейте. Затем прямо через платье постукивает пальцами другой руки по грудной клетке, как бы в такт услышанной мелодии. Лицо его при этом делается совершенно бесстрастным и чуть ли не мечтательным. Потом он решительно идет к телефону и, полистав записную книжку, накручивает диск.

Через десяток секунд из трубки доносится по-военному четкое:

— Гёбель у аппарата!

— Бруно, здравствуйте! Это Мартин Гольдшлюссель.

— Рад вас слышать, герр Гольдшлюссель! Чем могу быть полезен?

— Вы меня чрезвычайно обяжете, Бруно, если сейчас же пошлете самого резвого своего мальчика на Мюнхенгассе к Берте с просьбой немедленно прийти ко мне, несмотря на дождь. Мальчику дайте, пожалуйста, десять гульденов и запишите на мой счёт.

— Будет сделано, герр Гольдшлюссель! Что-нибудь еще?

— Нет, это все. Благодарю вас, Бруно. До свидания!

— Желаю здравствовать!

Мартин аккуратно возвращает трубку на рычаг, подходит к своей нечаянной пациентке, некоторое время прислушивается к ее дыханию, берет блокнот и карандаш, садится рядом с диваном и углубляется в составление какого-то списка.

Берта Брушке, крепкая старуха из грубых меннонитов, которая не терпит обращения «фройляйн», («В мои года зваться девицею стыдно, а уж коли фрау меня Господь стать не сподобил, так пущай и буду просто Берта», — говорит она со своим неподражаемым остзейским акцентом), появляется через полчаса, обстоятельно встряхивает зонт перед дверью, не обращая внимания на протесты хозяина, снимает в прихожей мокрые ботинки и в одних чулках вдвигается в гостиную. Моментально изучив мизансцену, она поворачивается к Мартину и вопросительно приподнимает бровь.

Тот заходит издалека:

— Дорогая Берта, мы знакомы уже два года, и должен сказать, что в городе нет человека, которому я доверял бы больше вас. Но дело тут настолько серьезное и опасное, что я обязан попросить вас держать все

в секрете, вне зависимости от того, согласитесь ли вы мне помогать или нет. Хотя, конечно, в вашем случае совершенно излишне говорить об этом.

Берта обиженно поджимает губы так, что лучики морщинок вокруг них кажутся стежками суровых ниток, стягивающими рот намертво, и становится ясно, что говорить и впрямь излишне.

— Простите, Берта, я сморозил глупость.

— С кем не бывает, — удовлетворенно кивает старуха.

— Я вот о чем... Всем известно, что вы — одна из немногих, кто продолжает покупать продукты у евреев, не боясь молодчиков из СА.

— Чтoб я энтих дерьморубашечников, прости Господи, боялась? — возмущается Берта. — Я чего боюсь, так это что на том свете мне иск вчинят, за то, что им, поганцам, на свет родиться помогала, по задницам их шлепала, чтoб задышали. Дай мне волю, я б той самой рукой, — и она машет перед Мартиновым лицом той самой широкой крестьянской рукой, похожей на краюху черного хлеба, — так бы их нынче по задам отшлепала, что обратно б дух из их повышибла!

Воображение тотчас рисует Мартину картину того, как Берта на ратушной площади выбивает дух из гауляйтера Форстера, спустив с него штаны — получается настолько убедительно, что он хихикает. Старая повиуха, разойдясь не на шутку, набрасывается на него:

— Чего смеетесь? Кабы было б в городе с дюжину таких, как я, мы б вам, мужикам, показали, как с ими разговаривать надо!

— Право, Берта, если Господь пощадит этот город, то только из-за того, что в нем нашлись два праведника: вы и Густав Пич.

— Вы меня с им не равняйте — он святой, а я — грешница. Оттого он теперича, сказывают, в Святой земле обретается, а я — в этом свинарнике. И хватит пустое молоть, говорите дело! Хотя я и сама вижу, что девка — нездешняя, больная. Денег и бумаг, уж конечно,

нету. Уход ей нужен, а вам ее мыть-одевать негоже, потому как вы мужчина, хоть и доктор. Так?

— Одно удовольствие с вами дело иметь, Берта!

— Мне про то все доктора говаривали. Думаю, вам сейчас в аптеку надобно, так вы и идите себе, а я свое дело знаю, — с этими словами грозная старуха отворачивается к больной, давая понять, что разговор окончен.

«Грандиозная женщина!» — в очередной раз восхищается Мартин и отправляется за лекарствами. Хотя и не в аптеку, как предположила Берта, а совсем в другое место.

* * *

Место, куда отправился Мартин, находилось неподалеку. В доме на Ланггассе, на третьем этаже, была небольшая квартира, которую занимал один интересный человек, для окружающих представлявший собою одну сплошную неопределенность — неопределенного возраста, неопределенной национальности, неопределенных занятий. Он был невысок ростом, темноволос, а лицом смахивал не то на китайца, не то на ещё какого-то азиата, но одевался по-европейски, по-немецки говорил безо всякого акцента и частенько пропускал кружку-другую Золотого Артуса в пивном ресторанчике Бодденбурга, что находился этажом ниже его жилища. И хотя мельхиоровая табличка на его дверях гласила «Др. Вольф Шёнэ», никто (за глаза, разумеется) иначе как «чертов китаец» его не звал — все после того случая, как Шлехтфеггеров сынок Гюнтер, из первых штурмовиков в городе, нарочно опрокинул на него кружку пива, сказав что-то вроде «а после длинноносых возьмемся за косоглазых». А Шёнэ, как ни в чем не бывало, промокнул платочком манишку, смерил взглядом громилу и сказал ему так спокойненько: «Берегитесь воды!» И ушел, пока тот пытался сообразить, оскорбили ли в его лице арийскую расу или нет. И надо же такому случиться, что тем же вечером, катаясь по

пьяной лавочке на мотоцикле, Гюнтер сверзился в Мотглау и утоп. Полиция, ясное дело, никакого состава преступления в том не усмотрела, а идти к китаезе за разъяснениями охотников не нашлось. Однако с тех пор лишь кельнер Хуго мог бы похвастаться тем, что иногда перекидывался с этим не пойми каких наук доктором парой фраз, да только он был не из хвастливых и языком зря чесать не любил. В окрестных лавках Шёнэ ничего не покупал, даже газет, а все съестные и прочие припасы, видимо, доставлялись ему из порта посыльными, которые тоже разговорчивостью не отличались. Так и вышло, что общественностью на этой темной личности был поставлен гриф «Непонятное, но безопасное, если не трогать», после чего общественность успокоилась, и все контакты с «чертовым китайцем» были сведены к преувеличенно церемонным доброжелательным приветствиям и прощаниям, к вящему удовлетворению обеих сторон. На самом же деле доктор Вольф Шёнэ был вовсе никакой не китаец, хотя, среди прочего, знал толк и в китайской грамоте.

* * *

— Да, начало интригует, — сказал Михаэль, возвращая листы. — Только я не очень понимаю, отчего у тебя прошедшее время перемежается с настоящим. Такое чувство, словно читаешь то сценарий, то роман.

— Ты меня не поднимешь на смех, если я скажу, что так захотел текст? Тут удивительное дело — я пробовал переписать эти куски, но получилось значительно хуже.

— А ты не пытался разобраться, почему он этого захотел?

— У меня есть некое смутное предположение... трудно вербализуемое. Я или, точнее, наблюдатель еще не уверен в том, что это время — настоящее. Поэтому наблюдающий то и дело приотстает от него на долю секунды, за которую оно успевает сделаться прошедшим, как это всегда происходит с настоящим временем, а не исчезает, к примеру, вовсе. Возникает некий стереоскопический эффект, подтверждающий реальность движения. Вот как если на групповой фотографии фигура одного человека хотя бы чуточку смазана, у нас сразу возникает уверенность, что на снимке не манекены, а живые люди, понимаешь?

— Кажется, да.

— Ну вот, если использовать кинематографическую метафору, я только начинаю крутить ручку проектора, bobина — огромная, в силу инерции раскручивается медленно, поэтому на экране мы видим пока что не плавное действие, а быстро сменяющиеся фотографии. Я сижу в будке и смотрю не на экран, а на ленту, на кадры — то прямо сквозь них, то провожая их взглядом, как бы пытаюсь мысленно ускорить движение. Как в медленно едущем поезде, да? А другого объяснения не нахожу. Но мы с тобой три недели не виделись, старик, а говорим о всякой ерунде. Где ты пропадал?

— В Германии. Со мной, как всегда, приключаются странные вещи. Ты знаешь, с моей специальностью работу в здешних университетах не найти. Диссертацию я дописал, стипендия вот-вот закончится, дела паршивые. И вот иду я по своей альма матер и вижу — стоит компьютер, а на экране — сайт по трудоустройству для академических люмпенов типа меня. Дай, думаю, попытаю счастья. Ввел свои данные — и тут же мне выдают одну-единственную вакансию — как для меня созданную. Но в Принстоне. Я подумал, что ничего не теряю и отправил

запрос. И ушел. А через полчаса вернулся, чтобы кое-что уточнить — а там уже этой вакансии нет. Ну, думаю, не судьба. А на следующий день получил приглашение от руководителя проекта — некоего Петера Шэфера — приехать на интервью...

— В Принстон?

— Нет, разумеется. На какую-то папирологическую конференцию в Бланкензее. Это недалеко от Берлина. Представь себе — замок в лесу, озеро, парк...

— Кормили хоть прилично?

— Сносно. Правда, заставили меня попробовать настоящий немецкий квак. Сказали: в Принстоне вам такого не подадут. Ну, я представил себе что-то болотно-зеленое и дрожащее на тарелке и внутренне тоже содрогнулся.

— А оказалось?

— Дрожащее, но ядовито-розовое. На вкус эта слякоть напоминала плод алхимического брака бывшего йогурта с фригидной манной кашей. Но мне удалось изобразить на лице блаженство, которому позавидовал бы святой Августин — я искренне радовался, что в Принстоне такого не подают. А в остальном было прекрасно. Место удивительное и я бы даже сказал — мистическое. Вообрази себе обширный парк, уставленный копиями римских статуй времен династии Адриана, при входе — скульптурная группа из каких-то волхвов с восточным колоритом.

— И что тут удивительного и мистического?

— Во всем парке — ни одной птицы, кроме черных лебедей в озере, а по ночам я видел меж деревьев таинственные блуждающие огоньки.

— Ты просто чересчур впечатлителен, друг мой. А чей это замок?

— Берлинского университета. А раньше он принадлежал некоему Зудерманну. Говорят, известный писатель, классик.

— Зудерманн? Никогда не слышал.

— Смотрительница замка сказала, что он пропал в 1928 году.

— Как пропал?

— Я не очень-то понял. Знаешь, ее недоразвитый английский оставлял желать еще лучшего, чем мой увядший немецкий. Вот если б она по-древнегречески рассказывала...

Выйдя из дома, Мартин видит, что гроза сменилась простым нудным дождем. Он раскуривает трубку, поворачиваясь кругом так, будто пытается стать к ветру спиной, и удерживая раскрытый зонт плечом, внимательно осматривается. Серая, точно нарисованная поплывшей тушью, улица безлюдна и беззвучна. Возле соседнего дома мокнет незнакомый и тоже серый автомобиль. Мартин спускается по лестнице. Какой-то долговязый молодой человек выскакивает из дверей у него за спиной и прыжками через две ступеньки несется вниз, придерживая одной рукой шляпу, а другой — стягивая отвороты пиджака, так что Мартин, обернувшись, не успевает разглядеть лицо бегущего. Человек обгоняет Мартина, лихо перемахивая через лужи, подлетает к машине и садится в нее с правой стороны. Тот, что был за рулем, тотчас заводит мотор и быстро рвет с места. «Де Цет восемьсот девяносто девять, — машинально запоминает номер Мартин, — год моего рождения». И трогается в путь в том же направлении, куда уехал автомобиль. Колокол Мариенкирхе начинает неспешно звонить, и последний его удар застает Мартина выбивающим затейливый ритм на двери с мельхиоровой табличкой и без электрического звонка.

Дверь открывается скоро, будто хозяин стоял в прихожей, ожидая условного сигнала — во всяком случае, звука торопливых шагов из квартиры не доносится. Мартин складывает ладони лодочкой перед грудью и кланяется:

— Здравствуй, Шоно!

— И тебе здравствовать, Марти! — поклонившись в ответ, говорит загадочный человек. — Извини, что заставил ждать — прикорнул четверть часика на диване, — и хитро щурит и без того узкие глаза. — Проходи и будь моим гостем, раз уж разбудил старика.

— Прости, но дело не терпело отлагательств, а телефона у тебя нет.

— Ты прекрасно знаешь, что я терпеть не могу всех этих новомодных штучек на электричестве — у меня от них вечно в голове гудит. Садись и выкладывай свое дело, а я пока что сделаю нам чаю. Тебе по-китайски или по-нашему? У меня есть очень хороший *у-лун*.

— Значит, по-китайски, — Мартин располагается на подушечке подле чайного столика и вытягивает из кармашка на груди давешний список: — Вот, взгляни и скажи, что ты про это думаешь!

Шоно мельком заглядывает в листок, кивает головой, потом идет ставить чайник на огонь и, вернувшись, садится рядом с гостем и говорит:

— Человек ветра и слизи — женщина — истощение — кашель — сильный жар — жидкость в легких, словом, как вы говорите — воспаление. Ты все-таки как был, так и остался европейцем — слишком доверяешь классическим схемам. Я бы вместо этого и этого, — он водит по бумаге пальцем, — поставил бы ей иголки примерно сюда, сюда и вот сюда, — и тем же пальцем чувствительно тычет Мартина в разные точки тела. — А растирания с жиром отложил бы на пару дней. Но, думаю, ты и без моей помощи поставишь ее на ноги дней за десять... Хотя с моей поставил бы за неделю, — после небольшой паузы добавляет он и раздражается сухим шелестящим смехом.

Мартин вяло улыбается в ответ. Шоно похлопывает его по колену, одним изящным движением поднимается на ноги и исчезает в кухне. Пока он отсутствует, Мартин бездумно разглядывает изысканный чайный прибор и понемногу погружается в дремотное состояние. Во сне он с удивлением видит, как улыбающийся Шоно протягивает ему коричневый гриб, и тут же, очнувшись, понимает, что это вовсе не гриб, а фарфоровая стопка с чаем, накрытая маленькой — размером с коленную — чашечкой. Он с поклоном принимает напиток, ловко переворачивает сосуды, зажав их в трех пальцах, вынимает стопку, вдыхает аромат:

— Очень хороший, — говорит он с чувством, — можно сказать, даже превосходный!

— Она красивая? — неожиданно спрашивает Шоно, легонько толкнув его пальцами в бок.

Мартин не спешит с ответом — сперва отхлебывает из чашки:

— Она прекрасна, как вкус этого чая. Или ещё прекраснее.

— Поэтому ты не дышишь?

— Дышу я, дышу.

— Рыба на воздухе тоже разевает рот и жабры, но это не значит, что она дышит! Это из-за нее? Что не так?

— Да то не так, что когда я ее увидел, мне будто полную грудь мокрой земли с камнями насыпали. На первый взгляд кажется, что она — просто копия Мари. А на второй — видишь, что это Мари была просто очень удачной копией. Понимаешь?

— Ты хочешь сказать, что эта — оригинал? — Шоно наклоняется над столиком и заглядывает Мартину в лицо — глаза его делаются почти круглыми, а голос почти теряет звук, — И мы все ошибались? Ты уверен?

— Практически. И с этой уверенностью я чувствую себя отвратительно.

— Погоди-ка, но ведь тогда выходит, что... Бог ты мой!

— Вот именно.

— Но почему сейчас, когда ничего уже не успеть?

— Тебе нужен ответ немедленно или ты дашь мне пару дней на размышление? — с преувеличенно серьезным видом спрашивает Мартин.

— Не дерзи старику! Он еще не дал повода втопты-вать в грязь свой авторитет! — Шоно насупливает брови и выпучивает глаза, сделавшись похожим на гневное монгольское божество, потом мигом разглаживает лицо и усмехается: — Хотя, надо признать, был как никогда близок к этому. Так. Я должен убедиться лично — ты все-таки слишком молод и эмоционален! — он протягивает Мартину объемистый бумажный сверток: — Тут

все, что ты просил, ну, и я добавил кое-что от себя. Ступай и лечи ее хорошенько! А я приду послезавтра — мне надо немного помозговать.

С этими словами Шоно сотворяет рукою жест, каким султаны отгоняют от себя опостылевших жен, а простые смертные — неприятный запах, и, подперев кулаком челюсть, погружается в раздумье. Мартин кланяется и с улыбкой идет к выходу — видно, что разыгранный спектакль ему не в новинку. Шоно продолжает сидеть, как изваяние, но едва лишь дверь захлопывается, хватается руками за голову, валится на спину и выпаливает в потолок: «Ох, ну это надо же!» И добавляет, помолчав пару секунд, сочное ругательство на непонятном языке.

* * *

Мартин возвращается к себе уже в сумерках. С неба сеются мелкие остатки дождя, дребезжит звоночком последний трамвай, похожий на огромный волшебный фонарь, что заманивает запоздалых путников в свое электрическое нутро и увозит их навсегда. Мостовая матово поблескивает, как спрессованная черная икра. Темные дома засыпают, подпирая друг дружку узкими плечами, чтобы не упасть на посту. Их плоские фасады — перепонка, отделяющая и охраняющая уют от неюта, настолько тонкая, что тут и там сквозь нее пробивается теплый, как топлёные сливки, свет. Ловцы человек сматывают удочки, ворча — неудачный день, и только незыблемые маяки пивных продолжают указывать фарватер настоящим мореходам, вечная жажда которых не зависит от количества разлитой в воздухе влаги. В такое время хорошо идти домой, предвкушая вкусный ужин в семейном кругу. Мартин, давно отвыкший от того, что вечером его ожидает что-то, кроме прогулки с собакой, скромной холостяцкой трапезы, книг и музыки, взволнован.

Сократив по возможности ритуал встречи в прихожей с Докхи, Мартин проходит в гостиную. В ней никого нет, пахнет едой и, кажется, даже прибрано. Берта обнаруживается читающей молитвенник подле кровати больной в бывшей детской комнате, из которой она успела соорудить нечто вроде лазарета. Не отрывая взгляда от книги и не прекращая шевелить губами, она предостерегающе поднимает палец. Мартин замирает и, терпеливо ожидая, пока Берта доберется до конца, осматривается. Поймав себя на том, что вновь избегает глядеть в лицо незнакомки, сердится и заставляет глаза остановиться на нем — будто сделанное из костяного фарфора, оно почти бесцветно, лишь на скулах просвечивает внутренний жар. Лежащие на подушке по обе стороны головы туго заплетенные косы огненными змеями охраняют непокойный сон. Или золотые цепи — думает Мартин.

По-прежнему глядя в книгу, Берта трогает мокрую тряпку на лбу пациентки и, отложив чтение, перемениет ее со словами:

— Пышет чисто печка. Хоть хлеб на ей пеки.

— Берта, скажите, зачем вы переносили ее одна? Неужели нельзя было дождаться меня!

— Невелика ноша! — фыркает старуха, — Легка, как перышко. В чем и душа-то держится? Я ее сперва в ванне отмывала в семи водах. Вся в саже, что твоя трубочистова щетка — в пароходной трубе, что ль, сюда добиралась бедняжка? Ну да уж я ее привела в божеский вид. Девка-то рожавшая, — как бы незначай добавляет она.

— Вы в этом уверены? — спрашивает Мартин, чтобы хоть что-то сказать.

— Мне ли не знать? — Берта укоризненно наклоняет голову к плечу, — у меня глаз наметанный.

— Да, простите. А она ничего не говорила в бреду?

Старуха принимает заговорщицкий вид и, понизив голос, сообщает:

— То-то и оно, что болботала что-то, пока не заснула. По-русски!

Мартин вовремя сдерживается, чтобы опять не спросить, уверена ли она. Но Берта, видимо, почувствовав это, уточняет сама:

— Я ж в Эстляндии родилась, в Российской империи. Говорить-то по-ихнему уж не смогу, но понимать понимаю.

— А что она говорила?

— Да ничего ясного. Все «да», да «нет», да «отпустите». И еще какого-то Мишеньку поминала. Бредила, понятное дело.

— М-да... Кстати, у нее был узелок. Вы посмотрели, что в нем?

— Я по чужим вещам рыться не приучена! — расправляет плечи Берта. — А на ощупь тряпки там да книжка какая-то. Перстенок на ей был — так вон он на столике. И вот что, господин доктор. Я с утра к вам жить перейду, покуда ее не выходим. И не перечьте! Денег с вас за то лишних не возьму — будете как обычно платить.

— Но Берта, дело совершенно не в деньгах! Просто мне неудобно вас эксплуатировать!.. — лепечет Мартин.

— Неудобно левой рукой в правый карман лазить! — перебивает старуха. — Все одно семьи у меня нет. Завтра на рынок схожу. Уж нынче ночью она всяко есть не запросит. Я там сготовила кой-чего, что в реф-ри-жираторе нашла. Собачку вашу мясом покормила. Уж так жалобно смотрел!

— Берта, но Докхи не ест мяса!

— Вот я и говорю, жалобно, — в голосе Берты явно звучит осуждение. — Вы с им сейчас погуляете, и пойду я — у меня цветы не политы, да и вставить завтра рано.

«Что ж это она все время командует? — думает Мартин, спускаясь по лестнице вслед за Докхи. — Теперь еще у собаки расстройство желудка будет. Этого мне не хватало».

Мартин готовил на кухне лечебный состав, хмурясь и бормоча под нос нечто невразумительное, вроде детской считалки: «Король — камнеломка, ферзь — шалфей, слоны — термопсис и змееголовник, ладьи — желтушник и гипекоум, кони — талая вода, пешки — прохладные травы... А завтра — камфару двадцать пять. Белые начинают, черные доделывают, всё как всегда». Говорил он все это лишь для того, чтобы изгнать из головы тревожные мысли. Но куда там! С тем же успехом он мог бы пытаться утопить дюжину футбольных мячей одновременно. Мысли упорно всплывали и вертелись хороводом вокруг одного вопроса: что же будет потом? К тому же Мартин боялся лечить эту женщину — нет, он не сомневался ни в своей способности исцелить ее, ни даже в ее выздоровлении. Страх его был совершенно иррационален. Так бедняк, откопавший в своем саду старинный сундук, боится сломать замок и заглянуть под крышку.

Ночь Мартин провел в кресле подле больной. Он то проваливался в скверный сон, то вскидывался, когда та бредила, поил ее, менял холодный компресс и подолгу прислушивался к бессвязным обрывкам незнакомой речи.

Берта пришла с рассветом, заполнила собой все пространство холостяцкого жилища, приготовила завтрак и отпустила Мартина на краткосрочную прогулку с Докхи, а после снарядилась кошелками и сообщила, что вернется не позже, чем через два часа.

Не успели затихнуть ее гренадерские шаги, как с черного хода донесся условный стук. Мартин открыл дверь и, от удивления забыв поздороваться, спросил:

— Шоно? Ты же сказал, что будешь размышлять до послезавтра!

— Однако, шибко быстро думал, — с деланным китайским акцентом ответил тот, — И ты здравствуй, мой мальчик!

— Извини. Здравствуй!

— Извинил.

— Очень хорошо, что ты пришел сейчас.

— Вот и я подумал, а вдруг тебе будет приятен мой неожиданный визит? И решил безотлагательно проверить свою гипотезу. Ну-с, показывай свою протезе!

Войдя в комнату, Шоно присвистнул на вдохе и поглядел на Мартина:

— Ты ее осмотрел? По бегающим глазкам вижу, что постеснялся. Эх, Марти, Марти, я плохой учитель — хороший побил бы тебя бамбуковой палкой! — И, напустив на себя суровый вид, он уселся на край кровати. — А я ведь тебе доверял. Так, поглядим, что тут у нас! — и с этими словами откинул одеяло.

Женщина оказалась совершенно нагой — по каким-то своим резонам Берта не стала ее одевать в мужскую пижаму. Мартин невольно зажмурился, но образ прекрасного тела успел запечатлеться у него на сетчатке и тут же отчетливо проявился на изнанке века, заставив сердце пропустить несколько ударов. Осознав, что продолжать стоять с закрытыми глазами глупо, Мартин вздохнул и стал смотреть в сторону.

— Ай, какая замечательная фигура! Боттичелли сюда! Праксителя! — восхищенно восклицал Шоно, приступая к пальпации. Поймав на себе укоризненный взгляд ученика, с ненатуральным покаянием в голосе признался: — Да, я никогда не был настоящим монахом. Но видишь ли, в моем возрасте женщинами любуются уже совершенно бескорыстно. Как лошадьми. А вот если бы такая фемина встретилась мне всего лет двадцать назад, то... Я не уверен, что река моей жизни не сменила бы русло.

Окончив обследование, Шоно укрыв пациентку одеялом, приложил свои пальцы к ее запястьям и замолчал. Через пару минут он задумчиво пожевал губами и произнес:

— Знаешь, в чем коварство фарфора? Он кажется холодным, даже когда раскален. Да. Передай мне, пожалуйста, иглы!

— Что ты думаешь о моем диагнозе? — спросил Мартин, протягивая ему черный кожаный футляр.

— Я думаю, что я все же не такой уж плохой учитель! — улыбнулся Шоно, вонзая длинные серебряные стельки в пресловутый фарфор. — Я ее правильно увидел. Но мне еще нужна какая-нибудь ее личная вещь.

— У нее с собой был узелок.

— Что в нем?

Мартин замялся:

— Э... Как-то не успел...

— Давай его сюда! Твоя щепетильность тебя когда-нибудь погубит.

Покончив с иглами, Шоно решительно распустил узел. Предмет, замотанный в несколько деталей женского туалета, оказался не книгой, как предполагала Берта. Это была фотография в деревянной рамке — семейный портрет: темноволосый мужчина с тонкими усиками и веселым, довольным лицом обнимает за плечи круглоликого мальчика в матроске, а светловолосая красивая женщина положила ладонь на предплечье мужчины. Мальчик и мужчина живым взглядом смотрят в объектив. Женщина почему-то глядит в сторону.

— Один? Не может быть! Весьма странно. Весьма, — тихонько пробормотал Шоно.

— Что странно? И что один? Я не в состоянии сейчас понимать твои ребусы! — потерял терпение Мартин.

— Прости. Это не мои ребусы. И я тоже пока что не понимаю. Будем надеяться, что эта прелестная особа вскоре сама сможет их нам разгадать. А я должен подумать. Ты знаешь, когда снять иголки. Меня проводит Докхи. Докхи, ты ведь меня проводишь?

* * *

С приходом к власти Берты дом делается регулярным, как римский военный лагерь — в нем налаживается быт, устанавливается порядок, заводится расписание.

Насильно освобожденный от большинства хозяйственных забот Мартин лишь время от времени отрягается в набеги на окрестные магазины да допускается к телу больной для проведения процедур, а большую часть дня бесцельно вышагивает по квартире, не в силах сосредоточиться и вернуться за письменный стол. Не без труда ему удается отвоевать право проводить у скорбного одра хотя бы часть ночи.

В третью вигилию, едва задремав, Мартин просыпается от ощущения пристального взгляда — то женщина, приподнявшись на локтях, ласково смотрит на него и улыбается. Но не успевает он открыть рот, как она произносит длинную фразу по-русски и вновь возвращается в горячее забытие. Мартин выслушивает ее легкие и понимает, что кризис недалек. Ему мучительно хочется курить, и он, сам того не замечая, начинает покусывать самшитовый черенок стетоскопа вместо мундштука.

Наутро является Шоно. Он, как обычно, элегантен и жовиален и даже пытается заигрывать с Бертой, превосходящей его в объемах чуть не вдвое, и монументальная старуха, к безграничному удивлению Мартина, принимает эти ухаживания вполне благосклонно. После ее ухода Шоно сообщает:

— Беэр вернулся. Видел его вчера у Боденбурга. Он сказал, что зайдет нынче к тебе.

— И это все?

— Вокруг было слишком много лишних ушей. И чувствовалось, что он едва сдерживается, чтобы их не пообрывать. Похоже, он даже слегка перебрал.

— В это с трудом верится. Там бы не хватило пива.

— И тем не менее. Впрочем, я не дождался кульминации вечеринки. Что там с нашей спящей красавицей?

— Жду кризиса в ближайшее время. Хрипы стали тише.

— Что ж, прекрасно. Я помою руки и посмотрю ее, а ты пока приготовь мне, пожалуйста, немного того питья, что у тебя сносно получается.

— Какого именно?

— А разве у тебя прилично получается еще что-то, кроме кофе? — довольно рассмеявшись, Шоно хлопает Мартина по плечу и удаляется в ванную комнату.

Через четверть часа оба уже смакуют кофе победуински в кабинете. Аромат кардамона и арабески вишневого дыма от Мартиновой трубки создают ленивую атмосферу серала. Вдумчивый кейф прерывается долгим звонком в дверь. Чувствуется, что рука звонящего тяжела.

— Беэр пришел, — невозмутимо констатирует Шоно. — Впустим?

— Так ведь дверь ломает, — Мартин с сожалением отставляет тонкую чашку и встает. — Вот, уже начал.

Звонки и впрямь сменяется полицейским стуком. Мартин спешит отщелкнуть замок, и в дверном проеме показывается человек величиной с дверь. У него разбойничье лицо — черная борода, низкий лоб с выпуклыми надбровьями, одно из которых пересекает старый кривой шрам, умные и лукавые обезьяньи глаза — и совершенно не вяжущиеся с такой brutальной внешностью светлый шикарнейший костюм в микроскопическую полоску и светлая же фетровая шляпа итальянского фасона. В ярком шелковом галстуке — бриллиантовая заколка. Левая рука Беэра небрежно забинтована. Он нежно обнимает Мартина, потом отстраняет от себя и рассматривает:

— Ты спал? Я уже отчаялся и почти ушел! — говорит он по-английски.

— Твой прощальный стук вырвал нас с Шоно из нирваны. Мы курили опиум.

— А, этот старый мухомор уже тут? Кстати, я рассказывал тебе про то, как разломал опиумокурильню в Сингапуре?

— Рассказывал, и не раз. Проходи, пожалуйста!

— Подожди, я должен как следует поздороваться с Докхи! — Беэр сграбастывает пса в охапку, прижимает к груди и трет щекой об его складчатую морду: — Кто мой любимый песик? По кому я так скучал?

Продолжая сюсюкать и тискать в объятиях пятипудового кобеля, гость перемещается в кабинет:

— Здравствуй, Зеэв! — по-немецки приветствует он Шоно.

— Здравствуй, Баабгай! — отвечает тот и, окинув Беэра критическим взглядом, заявляет: — Ты теперь говоришь с американским акцентом и одеваешься, как сутенер из Шикаго.

— Зато ты по-прежнему говоришь с китайским, а в своем героке выглядишь промотавшимся гробовщиком из Моравии, — парирует Беэр и добавляет, усаживаясь в кресло и спуская собаку на пол: — А сутенер лучше гробовщика.

— Это почему еще? — интересуется Мартин.

— Потому что он наживаетеся на радостях жизни!

— Ты вчера хорошо порезвился? — спрашивает Шоно.

— Какое там! Представляешь, меня пытались вышвырнуть из пивной!

— Кто были эти безумцы?

— Какие-то ублюдки, услышав мой акцент, завели «Gott strafe England»¹, а когда я потребовал от них извинений, набросились на меня вшестером. Или всемером — мне все никак не удавалось их пересчитать — они слишком мельтешили.

— И?

— Судя по состоянию моей руки, я сломал кому-то челюсть. Но в общем и целом было весело. Я бился и пел «March of the Cameron Men» как в пятнадцатом! — Беэр прикрывает глаза и гнусаво затягивает:

Nach cluinn sibh fuaim na pioba tighinn,

Gu h-ard than monadh 'us ghleann;

Agus cas cheuman eutrom a'saltairt an fhraoich!

Si caismeachd Chloinn Camrain a th'ann!..²

¹ Господь, покарай Англию! (нем.)

² Чу! — вольнок разносится врезг

В холмах и долах там и тут.

То, легко приминая стопами вереск,

Камероновы парни идут. (гэльск.)

Докхи начинает очень похоже подвывать, а Мартин и Шоно покатываются со смеху. Вытерев слезы, Шоно говорит:

— Я не знал, что ты — шотландец. Но очень живо вообразил тебя в килте.

— Я из древнего клана МакКавеев. Кстати, почему ты вчера ретировался? Ты должен был прикрывать мне спину!

— Меня бы едва хватило, чтоб прикрыть твою задницу.

— Это самое главное! — хохочет Беэр. — Особенно для нас, шотландцев. Кстати, о задницах, — он разом серьезнеет. — Мы должны их уносить отсюда, и побыстрее. По моим сведениям из надежного источника война начнется очень скоро, и начнется она, вероятнее всего, в Данциге. Вот здесь, — великан достает из внутреннего кармана пиджака толстый конверт и бросает его на стол, — визы и билеты на пароход до Нью-Йорка. На сборы вам остается чуть более сорока четырех часов. Вопросы?

Мартин и Шоно переглядываются.

— Что случилось? Вам мало времени? Вы собираетесь упаковывать майссенский сервиз на двести персон?

— Видишь ли, Беэр, — тихим голосом говорит Шоно, — дело всего в одной, но очень важной персоне, без которой мы не можем уехать. Пойдем!

Все трое подходят к дверям детской. Беэр заглядывает внутрь поверх голов. Минуту он с ошалелым видом рассматривает лежащую на кровати женщину, потом индейским шагом приближается и изучает ее лицо, низко склоняясь над изголовьем, а затем скорее выдыхает, чем произносит, на чистом русском языке: «Шоб я сдох!..»

Глаза женщины неожиданно раскрываются. Взгляд быстро заостряется, обретает смысл.

— Вы кто? — шепотом спрашивает она по-русски.

Ответить на этот вопрос Беэру было непросто.

Мотя Берман, единственный сын успешного одесского коммерсанта, бывшего кантониста, отличившегося в Русско-Турецкую кампанию, угрюмого медведя Лазаря Бермана, появился на свет в 1890 году. Мать его, хрупкая и тихая красавица Рут из семьи богатого купца Якова Ломброзо-Картби, единственная любовь Лазаря, годившегося ей в отцы, угасла вскоре после родов. Берман-старший, хотя и был завидным, несмотря на свои пятьдесят, женихом, о повторном браке слушать не желал, а отношение его к сыну было сложным, если не сказать суровым.

Мотя Берман, здоровяк и шалопай, которого из всех педагогов любил только преподаватель гимнастики, запоем читал приключенческую литературу и мечтал о военных подвигах, необитаемых островах и кладах, прогуливал уроки, предпочитая разноязычную портовую ругань латыни и греческому, а солёные брызги прибора — библиотечной пыли. Он трижды избегал исключения из гимназии благодаря связям отца. За все свои похождения он бывал еженедельно порот, что, впрочем, по естественным причинам не прибавляло ему усидчивости — Мотя Берман был прирожденным авантюристом и эскапистом. В первый раз он убежал из дома в десять лет — помогать бурам в их праведной борьбе с английскими завоевателями — и был обнаружен таможенниками на греческой шхуне среди влажных тюков с контрабандой. Второй побег — в пятнадцать — Моте тоже не удался — его арестовали при попытке пробраться в эшелон, направлявшийся в Порт-Артур. В том же году за участие в уличных беспорядках Мотя угодил в каталажку и лишь за большие деньги был вызволен Лазарем, а после им же жестоко избит. К привычным поркам Мотя относился с пониманием, но вот ударов по лицу он отцу простить не смог и решил убежать навсегда.

Мотя Берман, прибавив себе года, нанялся матросом на торговое судно и в конце 1907 года оказался в Сиднее, имея при себе пятьдесят долларов и пару запасных штанов.

Мэттью Картби, два года отработав землекопом, водителем грузовика и кузнецом, натурализовался в Австралии в 1909 году и тотчас приступил к воплощению своей заветной мечты — он записался в ряды вооруженных сил. Первая мировая война застала его уже младшим лейтенантом.

Лейтенант Мэтт Картби, известный в 4-й пехотной бригаде как «Mad Bear»¹, чудом выжил в Галлиполийской мясорубке и не получил Креста Виктории только потому, что среди оставшихся в живых соратников не набралось троих очевидцев его геройства. В марте 1916 Мэтт был тяжело ранен в голову и отправлен на лечение в Каир. Однажды госпиталь «Абассия», где он лежал, посетила пожилая леди Анна Изабелла Ноэль, XV-я баронесса Вентворт, внучка лорда Байрона. Ее сопровождала дальняя родственница — прелестная молодая девушка. Обратив внимание на кудрявого великана со свежим сабельным шрамом на лице, по странному стечению обстоятельств валявшегося на койке с томиком стихов ее бабушки — Мотя поэзии не любил, но больше в тот момент читать ему было решительно нечего, — дама заговорила с ним. Мотина биография привела ее в восторг. Самого же героя привела в восторженный трепет белокурая спутница баронессы, поглядывавшая на него с нескрываемым интересом. Через несколько дней, на протяжении которых Мотя изнывал от внезапной любви, юная леди Ада, изнывавшая от скуки и жары, вновь посетила его — на сей раз в одиночестве. Вскоре ее посещения стали регулярными, а через некоторое время, когда Мотю выписали и он переместился до полного выздоровления в хостел для австралийских и новозеландских солдат, отношения с Адой переросли в бурный роман. Тогда же Моте впервые за все эти годы пришла

¹ Бешеный медведь (англ.)

в голову мысль о примирении с отцом. Но ответ на письмо он получил от душеприказчика, сбившегося с ног в поисках единственного наследника купца первой гильдии. Сделавшись в одночасье богачом, кавалер ордена «За выдающиеся заслуги» лейтенант Мэттью Берман-Картби — сохранение фамилии было единственным условием в завещании Лазаря — решил предложить Аде руку и сердце, но юная аристократка весело рассмеялась в ответ и цинично объяснила Моте, что он вполне устраивает ее в качестве любовника и ручного медведя. Узнав, что у возлюбленной есть в Лондоне жених, к которому она отбывает на днях, Мотя едва не лишился рассудка — он, как все медведи, был по природе однолюбом.

После отъезда Ады несчастный и неприкаянный Мотя целыми днями блуждал по окрестностям Каира с пустотой вместо мыслей и мельничным жерновом вместо сердца, и единственным его желанием было провалиться сквозь землю. И вот в один из этих дней, взбираясь по опасному склону на крутой холм в виду Каира, Мотя провалился-таки под землю — он упал в глубокую яму, накрытую сверху древними гнилыми досками, не выдержавшими его недюжинного веса. Обычный человек погиб бы сразу, сломав шею или раскроив себе череп. Счастливчик же Мотя отделался легкой контузией и кратковременной потерей сознания. Самое удивительное то, что сотрясение мозга невероятным образом прояснило и обострило его мыслительные процессы. Обнаружив себя лежащим на кипе каких-то пожелтевших свитков, Мотя моментально понял, что мечта его детства о сокровище неожиданным образом сбылась. При коротком свете спичек заворуженно разглядывал он диковинные знаки, не имевшие для него никакого смысла, и ощущал, как в нем рождается и крепнет новая страсть. Над грудой манускриптов он поклялся себе, что прочитает их все до единого.

Бестрепетно приняв извещение о почетной отставке по ранению, — война перестала быть делом его

жизни, — капитан Мэттью Берман-Картби покинул Каир. Его багаж составляли десять объемистых ящиков и один чемоданчик.

Через пять лет он защитил в Кембридже магистерскую диссертацию, а в двадцать третьем году в Иерусалиме у великого каббалиста рабби Иегуды Ашлага по прозвищу «Бааль сулям» появился новый ученик Матитьяху Берман, отличавшийся от прочих хасидов лишь гренадерской статью и выправкой. В 1926 году вместе с учителем он перебрался в Лондон.

В двадцать восьмом в библиотеке Берлинского университета доктор Мэттью Берман познакомился с доктором Вольфом Шёнэ. С тридцатого года Берман работал в Принстоне, время от времени наведываясь в Старый Свет.

И что же ответил этот человек на вопрос «Кто вы?», заданный едва очнувшейся незнакомкой?

Он ответил: «Я с Одессы».

* * *

— Я с Одессы, — на мягкий южный манер выговаривает Беэр.

Как ни странно, женщина вполне удовлетворяется этим ответом — тревожная напряженность в межбровье — в *аджне*, как сказали бы индусы, — тотчас исчезает, веки вздрагивают, точно крылья бабочки, и опускаются:

— Меня зовут Вера, — сообщает она и тут же погружается в спокойный сон.

— Заснула, — по-немецки констатирует очевидное Беэр. Некоторое время он продолжает стоять в прежней позе, потом разгибается и, обернувшись к друзьям, тихо восклицает по-английски:

— Скажите мне, что я тоже сплю! Или объясните мне, что все это значит!